

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ЗАНАЗАН

— Заназан! Ай Заназан! Хочешь грушу?

У Заназан длинные ресницы и сиреневые глаза. Волосы густые, медные, без седины. Вьются непокорными локонами у висков.

Протягиваю ей грушу. Смотрит сквозь, не отводит взгляда.

— Возьми грушу, Заназан.

Качает головой.

У Заназан оливковая кожа в рыжую крапушку. Она у нас необыкновенная, второй такой нет.

— Чем же мне тебя угостить?

Прикрывает рот тыльной стороной ладони — линия жизни нечеткая, короткая, обрывается на половине пути.

— Заназан?

— М?

— Поговори со мной.

Молчит. Пальцы бледные, длинные, на указательном левой руки — простенькое кольцо. Стоит, забавно скрестив ноги. На лодыжке — царапина полумесяцем.

— Когда успела пораниться?

Водит плечом. Улыбается рассеянно, словно в себя.

Хочется обнять, прижать к груди, но нельзя. Заназан не любит, когда к ней прикасаются.

— Если бы умела, написала бы твой портрет.

Смотрит недоверчиво. Поколебавшись, берет грушу.

— Скажи мне что-нибудь, Заназан.

Уходит, аккуратно прикрыв за собой дверь.

Мысленным взором слежу, как она спускается по ступенькам — один лестничный пролет, второй. Выныривает из подъездной стыни в залитый солнцем двор.

— Заназан! Ай Заназан! — зовет детвора.

Заназан идет, не оборачивается. Коса перекинута через плечо, кончик стянут смешной резинкой.

Войну она встретила беременной. Схватки случились в бомбежку. Скорую не вызовешь — телефоны молчат, у соседей помощи не попросишь — зачем заставлять людей жизнью риско-

вать. Терпела до последнего. Когда боль стала невыносимой — собрались с мужем и пошли в больницу. Мужа посекло осколками навывлет, ребенка не спасли.

— Заназан! Ай Заназан! — зовет детвора.

Она идет, не оборачивается.

Живут вдвоем со старенькой свекровью.

— На кого я тебя оставлю, когда уйду? — плачет свекровь.

Заназан улыбается кротко, безмятежно. Протягивает ей грушу.

— М-м-м-м.

У нее длинные густые ресницы и сиреневые глаза. Кто-нибудь видел сиреневые глаза? Я видела. У Заназан.

МЕРЕЛОЦ



Гинаманц Метаксия выходит из дому спозаранку, когда рассвет только занимается. Стая деревенских ласточек, вспорхнув с кипарисовой рощи, кружит в выси, черкая по стремительно светлеющему небесному полотну острыми крыльями. Бесшумно падает первая роса — густая, живительная, — выпроваживает ночь. Спутав время, заводит протяжную песнь сверчок: тррррю, тррррю, тррррю.

— Доброе уро, горемычный, — мысленно здоровается с ним Метаксия. Сверчок, будто

услышав ее, обрывает себя на полувздохе, притихает.

Сегодня Мерелоц ¹. По традиции, люди сначала ходят на поминальную службу и только потом навещают могилы. Метаксия раньше тоже следовала традиции, но однажды решила, что негоже оставлять визит к усопшим на потом: к чему им литургия, когда они находятся в том из миров, где все людское не имеет значения. Потому правильнее было бы, рассудила она, в день поминовения сперва навеститься на кладбище и только потом заниматься другими делами. Чтоб развеять сомнения, она сходила за советом к священнику. Тот, выслушав ее, закивал, соглашаясь — делай, как считаешь нужным, и если тебе спокойнее так... Метаксии было спокойнее так.

Идти до кладбища далеко. Мощенная речным камнем дорога петляет среди домов, а далее, резко вильнув, карабкается вверх по склону холма, туда, где, тесно прижимаясь друг к другу низкими оградками, множатся и множатся последние пристанища бердцев. Люди уходят так, словно соревнуются. Кажется, совсем недавно могила Размика была крайней, а теперь к ней через три ряда пробираться. Метаксия нашла ему такое место, чтобы простор и много неба. По-

¹ День посещения могил.

просила положить справа, под сенью плакучей ивы. Слева, когда придет время, положат ее, она уже договорилась и даже деньги вперед могильщику Цатуру отдала. Цатур отнекивался, но она настояла: «Посмотри на себя — кожа да кости. Вдруг смерть меня зимой, в самый холод, заберет. Откуда ты силы возьмешь, чтоб смерзшуюся землю копать? А так нальешь себе тарелку фасолевого супа, заправишь свиными шкварками, запьешь стопочкой кизиловки... И тебе хорошо, и мне приятно, ведь получается, что это я тебя угощаю!» Цатур деньги взял, но следующей весной явился к Метаксии и вскопал огород. «Не в силах с лопатой расстаться?» — пошутила она. «Сроднился с ней», — криво усмехнулся Цатур, налегая плечом на черенок.

Так и ходит который год. Вскопает огород весной, осенью с уборкой картошки и кукурузы поможет. Метаксия сначала увещевала не делать этого, потом смирилась. Раз приходит, значит, надо. В благодарность она детям Цатура шапки с большими помпонами вяжет. У него их трое, мал мала меньше. Смотрятся в этих разноцветных шапках веселыми гномиками.

На кладбище такая тишина, что ее не нарушает даже переливчатое пение дроздов. Метаксия прибирается на могиле с большой тщательностью: моет и насухо протирает ограду,

пропалывает сорняки, поливает цветы. Когда очищает камень от пыли и дождевых разводов, даты рождения и смерти проступают молчаливым укором. Она задерживает дыхание дольше, чем хватает сил. Разве можно смириться с уходом молодых? Семнадцать лет, жить и жить.

Закончив с уборкой, отсыпает в поминальную чашу крупы ладана, осторожно чиркает спичкой. Пока утренний ветер рассеивает сладковатый душный дым, Метаксия сидит на низенькой лавочке и, сложив на коленях руки, смотрит за горизонт. Там, за дальним согбенным холмом, осталась могила ее мужа: не докричаться, не долететь. Кто же мог подумать, что выпавшее на ее долю счастье окажется таким коротким! Она выросла в любящей семье — отец, мать, три старших брата. О замужней жизни не мечтала — не повезло с внешностью: большеносая, с косящим глазом и безгубым ртом. Смирившись со своей одинокой участью, нянчилась с племянниками, которых любила больше жизни. Но, справив сорок лет, неожиданно для себя вышла замуж — за отца Размика. Переехала через границу в его родную Омарбейли, пять армянских семей на семьдесят азербайджанских. Размику было тринадцать, трудный колючий возраст, отец с ним не справлялся. В деревне к нему относились с жалостью — бедный сирота, мало того что мать

потерял, так отец почти сразу на другой женился. Где это видано, чтобы мачеха пасынка любила?! Заимеет своего — примется парня со свету сживать. Метаксия внимания на разговоры не обращала, но в глубине души тоже опасалась, что, родив своего ребенка, отвернется от Размика. Потому так и не решилась забеременеть. Через четыре года не стало мужа — ушел среди ночи от разрыва сердца, закричал от дикой боли, выгнулся, задев ее локтем, — и притих. Размик натрез отказался переезжать в Армению, хотя Метаксия об этом очень просила. «Куда я поеду, у меня школа, выпускной класс!» — возмутился он. Она уступила, но взяла с него слово, что они переедут, когда он поступит в институт. Размик согласился, но с условием, что она перенесет могилу его родителей в Берд. Она обиделась не на шутку: как ты мог подумать, что я оставляю их здесь! Он обнял ее, заплакал. С того дня стал называть второй мамой. Иногда просто Второй. Она, отшучиваясь, называла его Первым. Так и жили, перекликаясь: Первый — Вторая, Вторая — Первый.

Когда случилась война, в приграничных деревнях особо не тревожились — люди десятилетиями дружили семьями, ездили друг к другу в гости. Война где-то там, далеко, нас она не коснется, не сомневались они. Дай-то бог, соглаша-

лась Метаксия. Потому она и уехала навестить прихворнувшую мать со спокойным сердцем. Только еды наготовила и попросила соседку выстиранное белье с веревок собрать — Размик все равно запомнит. Поздней ночью пришла весть, что в Омарбейли беспокойно: с границы слышны выстрелы и видно, как горят некоторые дома. Выбраться туда удалось лишь через два дня. Дом стоял, целый и невредимый, разве что ворота погнулись от удара чем-то тяжелым. Метаксия провела пальцами по вмятине, с недоумением ощущая царапающее прикосновение покореженного металла. На бельевых веревках висело пересохшее заскорузлое белье. В доме стояла такая тишина, что можно было услышать биение собственного сердца. Размика нигде не было, но он нашелся, на заднем дворе — наспех закиданный комьями земли и садовым инвентарем. Метаксия собрала с его лица землю, подержала в руках. Не давая себе отчета в том, что творит, съела горстку, давясь от ужаса и боли, остальное высыпала себе за пазуху. Затопила печь, поставила греться воду. Вытащила из погреба большой таз, в котором замачивала шерсть. Уложила туда Размика. Мыла осторожно, не дыша — словно боялась разбудить. Сообразив, что никогда раньше не видела его голым, заговорила шепотом, скрывая сму-

щение: «Какой ты статный, мой мальчик, какое у тебя красивое тело. Какое все у тебя ладное — для жизни, для радости, для счастья. Если бы не рана в животе... но я ее перевяжу, чтоб она не портила твоей красоты. Одену тебя в костюм, который купили к школьному выпускному. Зачешу назад непослушные волосы — ты никогда не давался, вертел головой, строил гримасы — не трогай, и так сойдет! У тебя высокий, чистый лоб, а ты не хотел его открывать...»

От туфель пришлось отказаться, на раздробленные ступни они не налезали. «Убивать ведь тоже можно так, чтобы без мучений. Мучить-то зачем?» — шептала Метаксия, обматывая ступни Размика полотенцем. Вытащила из сарая тележку, застелила мягким пледом, уложила его туда — и покатила со двора. Соседские дома провожали ее глухим молчанием. Метаксия ни разу не обернулась, чтобы удостоить их прощального взгляда. Прощаются с теми, кому есть что сказать. Им ей сказать было нечего.

Порыв ветра принес с собой острый запах хвои и далекий голос разбуженной селем реки. Солнце, едва выглянув из-за Девичьей скалы, зазолотило небо — от макушки до пят. Метаксия со вздохом поднялась, закрыла поминальную чашу, убрала в нишу. Оставила в изголовье могилы ломоть домашнего хлеба — небесным

ангелам. Попрощалась, попросила не волноваться и не скучать — Размик-джан, на той неделе снова приду. Ушла, аккуратно прикрыв за собой калитку ограды.

Берд просыпался смехом детей, покашливанием мужчин, шепотом женщин. Метаксия спускалась по склону, вбирая полной грудью дыхание утра. Надо было спешить — скоро начнется служба по усопшим. Мертвым она, конечно же, без надобности. Живым она нужней.

КОЛГОТКИ



В феврале Майинанц Цатуру исполнилось столько лет, сколько было отцу, когда он уходил на фронт. Цатур до сих пор помнил, как мать, повиснув на отцовой шее, мотала головой и молила осипшим от плача голосом: не надо, не пуцу. Босые ее ноги болтались в воздухе — она была маленького роста, едва доставала мужу до плеча: худенькая, почти прозрачная, легкая, словно перышко. Соседи ее называли кукла Арусяк — за красоту и хрупкость. Все удивлялись, откуда столько изящества в

простой деревенской женщине, вроде и в поле работает, и в реке белье полощет, а выглядит, словно фарфоровая статуэтка: нежная, тонкая, нездешняя. Цатуру тогда было четырнадцать, он стоял, прижав к себе рыдающих младших сестер, и изо всех сил старался не расплакаться. Отец поймал его взгляд, попросил одними губами: заberi ee. Цатур бережно подхватил под мышками мать, потянул к себе. Думал, будет сопротивляться, но она расцепила руки и обмякла на его груди.

— Береги девочек,— коротко бросил отец и вышел, не дожидаясь ответа. Цатур таким его и запомнил — в проеме двери, чуть пригнувшись — хоть знал, что не достает макушкой до притолоки, но все равно каждый раз наклонялся, выходя за порог. Словно уменьшался, покидая дом.

На фотографиях он отца не узнавал: крупный, сутуловатый, рано поседевший неуместно радостный мужчина — смеется так, что глаза превращаются в узенькие щелочки. Ранняя седина оказалась наследственной — Цатур начал сесть еще в школе, а к тридцати годам в его шевелюре не осталось ни одного темного волоса. Мать уверяла, что он очень похож на отца, он этого сходства не замечал, но охотно соглашался. Это не то чтобы